

Ламед Шапиро

ДЫМ



люди и книги
Санкт-Петербург

Предисловие

В «Википедии» о еврейском прозаике Ламеде Шапиро (1878–1948) сказано: «Он пережил погром, потерпел неудачу в любви, пытался покончить с собой, потом был записан в царскую армию. Этот опыт нашёл отражение в его литературном творчестве, полном тёмными фантазиями».

В энциклопедии «Ежевика» читаем:

«Рассказ “Дер цейлем” (“Крест”), опубликованный в газете “Дос найе лебн” (1909), сделал имя Шапиро популярным во всём еврейском мире, критики единодушно объявили его мастером прозы, продолжившим традиции его учителя И.-Л. Переца. Его рассказы были не похожи на творчество предшественников;

вместо сатиры у него на первом плане реалистические картины насилия».

У русскоязычного читателя, ознакомившегося с материалами, лежащими в открытом доступе, может сложиться совершенно неверное впечатление о сути творчества этого неоднозначного, но очень талантливого автора. Однако, если тексты не переведены на русский, разве читатель может что-то знать о них, кроме того, что «напел» о них неизвестный редактор?

Я убеждена: чтобы правильно считать посыл программных произведений Ламеда Шапира («Поцелуй», «Еврейское царство» или «Крест»), нужно сначала прочитать рассказ «Крылья» (воспоминания о детстве и празднике Суккес) или «Миртеле», элегию, полную тихой нежности и написанную от лица очень одинокого человека. А также стихи: и лирические, и ироничные, и наполненные героическим пафосом. Особенно «Самооборону» – этот текст гораздо слабее других стихов Шапира, зато в нём хорошо видны поиски формы и попытка применить революционные ямбы для правдивого и страшного высказывания о пережитом во время погромов.

В другом стихотворении – «Пророк» – автор возвращается к теме погромов, но делает это уже как модернист, используя гетероморфный

стих, и эффект от такого текста уже гораздо сильнее. Примерять на себя личину пророка вообще очень свойственно поэтам начала XX века, которые наследовали традиции, идущей от Уитмена. Ещё в одном стихотворении («Пророк говорит», 1942) автор уже отказывается от первоначального пафоса, который сопутствовал образу «поколенческого духовидца» из более ранних стихов; в поздних стихотворениях поэт предпочитает иронию патетическим восклицаниям. Вообще использование масок свойственно поэтике Ламеда Шапиро; в стихах он говорит от имени самых разных персонажей – как мужских, так и женских, а иногда (как в стихотворении «К тринадцати годам») в лирическом герое проглядывает андрогинность. Подобный приём мы встречаем и в прозе. Протагонист из рассказа «Крест» (большая часть повествования ведётся от его имени), точно так же, как и герой, исполняющий роль рассказчика (этот герой якобы подбостранно глядит в рот своему товарищу), – не более чем личины, а восторженная фраза в финале – не более чем горькая ирония.

Поэтике Шапиро свойственна и цитатность, центонность – приём, хорошо знакомый нам, живущим в век постпостмодерна. Поэтическая книга 1941 года «Из молитвы по жертвам» («Фун корбм минхе», изд-во «Алейн»,

Нью-Йорк) вся построена на этом приёме: кроме неявных цитат, спрятанных внутри текстов, большая часть названий стихов этой книги цитирует псалмы Давида, «Песнь песней», книгу Иова. Однако у нашего автора корни этого явления, пожалуй, нужно искать не в европейских литературных течениях, а в специфике еврейского текста. Одна из характерных черт такого текста – многочисленные отсылки к священным книгам, причём эти отсылки в начале XX века должны были считываться любым мало-мальски говорящим на идише человеком; сам идиш включает в себя слова и обороты арамитского происхождения, отправляющие нас к конкретной традиции. С середины прошлого столетия в связи с катастрофой, постигшей народ Книги, масштаб использования такой традиции письма резко сократился, но само явление не исчезло.

Если задуматься в свете вышесказанного о некоторых образах и мотивах, возникающих в прозе Ламеда Шапиро, становится очевидным, что навязчивая повторяемость конкретных способов насилия, переходящих из текста в текст, – не результат скудости извращённого воображения автора, а приём, с помощью которого автор хочет что-то донести до читателя. Частые прямые цитаты из книги Иова в текстах Шапиро помогают,

к примеру, объяснить следующий навязчивый мотив: в борьбе за жизнь один враг впивается зубами в плоть другого («Поцелуй», «Белая хала»). Этот мотив отсылает к книге Иова: «Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти» (Иов. 18:13). И далее: «Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться?» (Иов. 19:22). Мотив ослепления, связанный с образом глаз, повреждённых или вырванных в процессе схватки, также связан с книгой Иова: «Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его» (Иов. 20:9).

Видимая случайность отдельных образов, сопровождающая сюжетные повороты, отмеченные сакральным смыслом, при рассмотрении в контексте цитируемых отрывков обретает совершенно иное звучание. Вспомним сцену, когда шойхет Гершон, одержав внезапную и невероятно жестокую победу над своими преследователями, сидя на яру, медленно приходит в себя, и под руку ему падает смятый цветок львиного зева: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальями: как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается» (Иов. 14:1-2).

Так, глядя через призму поэтики автора и проследив попытки нащупать язык,

с помощью которого он смог говорить о самых страшных днях в жизни человека и целого народа, мы можем лучше понять, о чём они на самом деле – снискавшие скандальную славу рассказы Ламеда Шапиро, тексты, вполне достойные встать в один ряд с образцами мировой новеллистики начала XX века.

И только тогда становится видно, в каких жёстких рамках умел автор сдерживать эмоцию в своей прозе. Там, где дело касается ужасов, Шапиро потрясающе скуп на описания; писатель не позволяет себе смаковать жестокость. Он пишет не её портрет, а её хронику, а если быть более точным – её приговор, клиническую картину сумасшествия на почве пережитой страшной травмы. И перепуганному читателю в какой-то момент становятся ясны не только причины череды убийств, совершённых отдельным искалеченным человеком, но и механизмы возникновения глобальных социальных катастроф, в основе которых лежит всё та же человеческая жестокость.

Важно сказать и о лирическом «я» автора, частица которого, бесспорно, присутствует в каждом герое-маске. Примеряя личину чудовища, автор совершает перед читателем нечто сродни акту обличения собственного глубинного зверя, который, оказывается, может про-

будиться в любом, даже в самом сдержанном и интеллигентном человеке.

Совершенно в иной ипостаси автор предстаёт в своих лирико-мифологических, модернистских рассказах-снах, а также в лирических стихах, лучшие образцы которых демонстрируют умение аккуратно обращаться с веществом поэзии.

Жизнь Шапиро была страшна в юности, в зрелости он был одинок, а в старости тяжело беден. Даже после смерти писатель не обрёл покоя. Его могильная плита на кладбище в Лос-Анджелесе была разбита вандалами, и на ней осталась надпись, сделанная краской: «Здесь лежит лошадь».

В эту книгу вошли избранные рассказы и стихи Ламеда Шапиро из книг «Дер йидише мелухэ ун андере захен» (изд-во газеты «Найе цайт», Киев, 1919), «Ксойвим» (комитет по наследию Л. Шапиро, Лос-Анджелес, 1949), «Фун корбм минхе» (изд-во «Алейн», Нью-Йорк, 1941).

Я благодарна научному редактору этой книги, переводчику и этнографу, руководителю научного центра «Петербургская иудаика» при Европейском университете Валерию Дымшицу, а также моим товарищам и коллегам по семинару переводчиков с идиша –

Александре Глебовской, Ксении Викторовой,
Илье Нахмансону и Елене Марченко за актив-
ное и живое обсуждение текстов, за поддерж-
ку, конструктивные советы и искренний инте-
рес к моей работе.

*Ольга Аникина,
переводчик*

РАССКАЗЫ

ИЦЛ-ПОДКИДЫШ

Служка Борух-Эли стоит посреди большой синагоги и уже собирается идти домой.

– Ну и метель... – недовольно бормочет он, глядя в окно. – Я вообще бы отсюда ни ногой, но всё-таки дом есть дом.

Он немного подумал и выдвинул ящик из столика кантора.

Между книгой «Шмот»¹, бумажными листками и кусочками стеариновой свечи затерялся старый, заржавленный висячий замок. Борух-Эли берёт его, залезает на лавку и гасит лампу, висящую напротив печи. В синагоге становится темно, и только в печи горит крошечный огонёк в стакане с маслом – это свет поминальной свечи.

Боруху-Эли очень неохота идти домой, и он ненадолго замирает, стоя на лавке с замком

¹ «Шмот» («Имена») – вторая книга Пятикнижия, в русскоязычной Библии – «Исход». (*Здесь и далее – примечания переводчика.*)

в одной руке и с толстой самокруткой в другой. Освещённая отблеском свечи, вся его фигура выглядит странно. Наконец он решает, что ночевать здесь не годится: слишком мало места, – слезает с лавки и открывает дверь. Порыв ветра – и вместе с ним в помещение врывается Ицл-подкидывш.

– Куда тебя несёт, куда? – злится Борух-Эли. – Надо же, явился!

– А куда мне ещё? – отвечает Ицл, тоже разозлившись. – Снаружи, что ли, ночевать?

– Шевели ногами, ну?! – ворчит Борух-Эли. – Держи замок, запрёшься изнутри. Но дрова в печке жечь не смей – слышишь, ты, приبلудный?

Ицл моргает, но ничего не говорит в ответ и запирает за служкой дверь.

Слова Боруха-Эли насчёт того, что печку топить нельзя, Ицл отлично расслышал, но, несмотря на это, он отправляется напрямик к печи, лезет под лавку, где лежат заготовленные на утро поленья, берёт несколько и раскладывает их внутри. И вот уже пламя весело трещит – сухое дерево занимается быстро, словно солома. Ицл достаёт из кармана несколько картофелин, тех, что он отважился украсть в лавке у Зельды Шолем, кладёт их в печь – чтоб испеклись.

Ицл – кто он?

Его нашли под забором. С тех пор его удел стал таким же, как и у других подкидышей. Зимой его нянчили ветер со снегом, летом – жаркое солнце. Ицл познал все радости, уготованные для еврейских детей-сирот: богадельню, талмуд-тору¹, работу разносчика, старьёвщика и попрошайничество в чистом виде. Имя Ицл стало прозвищем, а настоящим и постоянным именем было Подкидыш. Он на собственной шкуре ощутил, что значит «дружба сверстников», – они часто кричали ему вслед: «Подкидыш!» и обзывали позорными словами его мать, которую и знать-то никто не знал. Однако сдачи он давать умел. Он вырос под открытым небом, и, может быть, именно поэтому был парнем крепким, с железным здоровьем, и обидчики получали от него даже сильнее, чем он от них.

Старшие тоже привыкли к его звучному прозвищу и по-другому, нежели Подкидыш, его уже не звали и тумакон для него не жалели. Иногда били за дело, а бывало – и просто так, веселья ради.

К тому же он и сам был порядочным балбесом. Так и повелось: то в одном доме случайно горшок разобьёт, то в другом, сам того не

¹ *Талмуд-тора* – религиозная школа для мальчиков из бедных семей и сирот, которую содержит община.

желая, помойное ведро перевернёт, а то, подбрасывая камешек, в оконное стекло его ненароком засадит. В общем, жилось ему весело и развлечений было много.

И чем больше его изводили, тем сильнее портился его характер: он стал злым, бессердечным и совсем одичал. Так-то он был неплохим парнем, только на вид уж больно замызганным, да ещё и лохмотья – люди видели только это. Ко всему прочему лентяем он был изрядным: мог три дня не есть, лишь бы только не работать.

Года два-три назад, когда Ицлу было лет десять-двенадцать, он, бывало, добывал себе обед здесь, ужин там, а ночлег ещё где-нибудь, в третьем месте. Его жалели – всё-таки сирота, хотя больно уж живчик был этот сирота. Когда в последний раз его отдали работать в пекарню, а он оттуда снова сбежал, все стали говорить, что от Ицла ничего хорошего ждать не приходится, что он сочувствия недостоин, что он только воровать способен – и будет вором всю свою пропадающую жизнь. Как в воду глядели. Ицл любил прибрать к рукам всё, что только можно было унести, и люди стали ненавидеть его ещё сильнее, чем прежде. Вот тогда-то настали для Ицла горькие дни.

Теперь он постоянно страдает от голода, изредка пытаясь добыть себе пропитание. Люди

редко пускают его куда-то переночевать – боятся. Спит он в синагоге на лавке, а временами и вовсе под открытым небом ночует.

* * *

Стоя возле огня и проталкивая картофелины подальше, внутрь печи, чтобы они быстрее испеклись, Ицл почувствовал, как тепло, доходя до самых костей, прямо-таки пробудило в нём жизнь: даже в животе что-то скребло и сосало под ложечкой, но запах печёных картофелин, которые были уже почти готовы, успокаивал его и столько всего обещал... Он упоённо ворошил угли палочкой и думал о Хайке, хорошенькой служанке в доме Янкеля, перед которой он по-своему благоговел.

От сладких раздумий его отвлекли чьи-то шаги. Он услышал, как кто-то поднимается по ступенькам ко входу в синагогу, – и в дверь тут же постучали.

– Кто там? – отозвался он со злобой в голосе.

Его раздражало, что его приятные раздумья прерывают.

– Ицл, открывай! Я дико замёрз.

Он узнал голос своего злейшего врага. Бездомный Арел докучал ему больше других

мальчишек, обзывавших его подкидышем, но сильнее всего его задевало то, что Арел осыпал бранью его никому не известную мать.

Арел, напротив, происходил из семьи, которую все хорошо знали. Отец его был балаголой¹, человеком недобрый и к тому же гордецом, а мать имела привычку прибираться к рукам всё, что плохо лежит, и уже прибранное не имела обыкновения возвращать обратно. Оба родителя довольно давно отошли в мир иной.

Потому Арел считался более «родовитым», чем Ицл, и уже в печёнках у того сидел. Ицл колотил его безо всякой жалости, да так, что Арел всякий раз ныл, обещая, что больше не будет, но стоило ему вырваться из рук противника, он, недолго думая, принимался за старое.

И вот сейчас у Ицла появилась возможность отомстить своему давнему врагу. Внутрь пускать его он не собирался.

– Прямо там спать и ложись! – злорадно крикнул он. – Задубей там от холода, будешь знать!

– Ицл, послушай! Пусти меня! У меня уже пальцы от холода не двигаются, – канючит Арел.

– Пускай тебя твой папаша приютит, ясно? Иди к нему и кричи: «Подкидыш!», ага?

– Нет, клянусь: больше никогда!

¹ Балагола – извозчик.

– Больше никогда? Это сейчас ты говоришь: «Больше никогда», а потом снова будешь орать «Подкидывай!»? Ну уж нет, я тебя проучу!

Арел рыдает во весь голос.

Тогда Ицл говорит ему, что пустит его внутрь через четверть часа: если хочет – пусть дожидается, а не хочет – пусть идёт на все четыре стороны. Выбора у Арела не остаётся, приходится ждать.

Четверть часа прошло, Арел просится: «Ну, открой уже!», а Ицл хохочет и отвечает, что, если Арелу так уж хочется внутрь, пускай он поскулит под дверью, как собака, – а впрочем, он всё равно его внутрь не пустит.

А потом, когда Арел, всхлипывая, собирается уже уходить, Ицл подбегает к двери, открывает её и сердито кричит:

– Ладно, заходи. Давай!.. Но если я ещё раз услышу от тебя: «Подкидывай»...

Зарёванный Арел бежит к печке, садится поближе к огню, и его лицо расплывается от удовольствия.

Из-за всего происходящего Ицл совсем забыл про картофелины. Только сейчас он вытащил их – они почти сгорели, но нет, всё-таки не полностью. Ицл любил подгоревшие шкурки даже сильнее, чем саму картошку.

При взгляде на картофелины в глазах Арела, словно у голодного зверя, загораются дикий

огонёк, но просить он боится. Ицла раздражает его голодный взгляд. Не глядя на Арела, он вытаскивает картофелины – кроме одной, полностью сторевшей, – раскладывает их на лавке, берёт с печки ржавую жестяную кружку с солью, которая обычно там стоит. Принимается за еду.

Запах печёных картофелин достигает носа Арела, врывается в ноздри, достигает желудка, рот наполняется слюной. Выдержать такое невозможно.

– И мне тоже дай. – Он протягивает руку.

В его глазах загорается недоброй огонь.

Ицлу неохота угощать, но кусок уже в горло не лезет, и его даже радует, что теперь он может спокойно поделиться с Арелом.

– На, только осторожно. Ишь, прямо в рот заглядывает... Свинья, одно слово!

Арел хватается две протянутые Ицлом картофелины, ломает их и запихивает в рот. Обжигается, перебрасывает языком куски во рту то за одну щёку, то за другую, жуёт с придыханием: «Хам-хам-хам!»

Поминальная свечка тускло освещает двух мальчишек, поглощающих свои яства. По синагоге растекается аппетитный запах.

Через час над синагогой уже раздаётся залистый храп двух бродяжек.

Снаружи вовсю трещит мороз.

Варшава, 1904

КРЫЛЬЯ

К празднику Суккес¹ мой отец не построил никакого шалаша, и всё-таки мы встретили святой праздник в сукке, да ещё и в такой красивой! Весь год это был чулан, всего лишь чулан; там вы могли обнаружить мешок картофеля, подвешенные связки лука, бочонок с квашеной свёклой и тому подобное. Нигде не прятался даже самый крохотный признак святости. Никто бы и не догадался, что это сукка. И всё же, если бы кто-то задрал голову вверх, к потолочным балкам, у него была бы возможность разглядеть, что чулан как нельзя лучше

¹ *Суккес (Суккот)* – в русской традиции называется Праздником кущей. Начинается осенью (15 тишрея, примерно сентябрь – октябрь). Продолжается семь дней, в течение которых в память о сорока годах, проведённых еврейским народом в пустыне, принято проводить время (есть, спать, читать священные тексты) под открытым небом, в специальной постройке с подвешиваемой крышей (сукке).

годится для того, чтоб стать суккой: ведь потолок состоял из полок да коробок! Но кому это бросалось в глаза? Чулан в глазах окружающих был всего лишь чуланом.

И только накануне праздника чулан стал суккой...

Мой старший брат залез на крышу. Он что-то там повернул – и вдруг над чуланом поднялись два больших чёрных крыла. И тут же *схах*¹ легли на перекладыны. Картошка и лук исчезли. Бочонки с квашеной свёклой мы застелили белой скатертью. Появился стол, скамейки и небольшой диван. Отец обычно соблюдал заповедь праздника Суккес по всем правилам: ел, пил и спал в сукке. Дом, который весь год возвышался над чуланом, теперь стал ниже, а чулан важно раскинул свои крылья над домом, как будто хотел показать: «Я – сукка!», и, кажется, собрался улететь в синее небо, где сияло золотое солнце.

Первый день праздника прошёл хорошо. Чувствовалось, что сукка для нас теперь стала совсем как дом; в ней мы ели, спали – в общем, жили; а главное – она удостоилась в своих стенах слушать слова Торы – в том числе и про себя саму: папа и брат несколько раз перечитали вслух законы о сукке – какой она

¹ *Схах* – покрытие для сукки: сосновые лапы либо связки стеблей камыша или тростника.

должна быть высоты, чем должна быть покрыта и всякое такое. Сукка слушала и думала: «Вот смешные люди! Неужто неясно, что я и без того соответствую всем заповедям вам на радость!» Что ж, в этом она была совершенно права.

Только вот на второй день случилось несчастье. С самого утра по небу к нам приближалась туча; она тяжело и низко висела над суккой, словно бы хотела рухнуть прямо на неё и раздавить. Ветер качал крылья, они тихо и жалобно скрипели. Все в доме ходили пригрюнившись. Отец хмуро и беспокойно поглядывал в окно и качал головой.

И всё равно в полдень все мы собрались обедать в сукке, мы ещё на что-то надеялись. Но спустя некоторое время над крышей зашумело; словно какое-то маленькое лёгкое существо пробежало по схаху... Все подняли глаза наверх – а затем, притихнув, снова уставились в свои тарелки. Ели торопливо, в тишине; минуту спустя кто-то уже вытирал салфеткой лоб. Внезапно что-то маленькое и блестящее сорвалось с высоты и плюхнулось прямо в миску. Потом – ещё одно, потом ещё. Папа поднялся с места.

– Бесплезно... Мойше, опусти крылья!

Мой брат поднялся и отвязал верёвку, которая тянулась вниз с потолочной балки. Что-то

заскрипело и упало там, наверху, прямо над нашими головами. Как будто перерубили что-то.

Серые мягкие тени тихо прокрались непонятно откуда, протянулись, раздулись и заполнили всё пространство сукки. Белоснежные скатерти, серебряные подсвечники – всё, чем был украшен стол, выглядело каким-то чужим и странным, как новенькая серебряная атора¹ на старом грязном талесе². Из-под скатерти ядовитой насмешкой выглянул край бочонка с квашеной капустой, словно коварный раб, смотрящий исподлобья на своего благородного господина...

В спешке и растерянности, не глядя друг на друга, мы покидали нашу сукку...

И она снова стала чуланом.

Варшава, 1903

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА

¹ *Атора* – ворот талеса.

² *Талес* – молитвенное покрывало, накидываемое на голову женатыми мужчинами во время утренней молитвы и некоторых праздников. К углам талеса в соответствии с заповедью пришиты четыре кисти, называемые цецес.